

Воспоминания

Нужно ли на склоне лет братья за перо и подводить итоги жизни, предаваться воспоминаниям, вновь переживать те или иные эпизоды своей жизни, делиться мыслями и сомнениями, будоражить раны за ошибки и грехи? Самооценка вряд ли может быть объективной, а исповедь – предельно откровенной. Поэтому воспоминания всегда выборочны, а их оценка – субъективна. Так и эти записки. Они, как я надеюсь, будут интересны внукам, так как расширят их сведения о дедушке. Я сын пожилых родителей; когда я родился в 1924 году, маме было 41, а отцу 54 года. К сожалению, я мало знаю о жизни отца и матери до их свадьбы. Сохранилась записная книжка отца, которую он начал записывать в 1902 году, когда ему было 32 года. Из этой книжки видно, что у отца был довольно широкий круг интересов, он писал стихи, выписывал изречения великих людей, нравоучения, пословицы, приводил нотации шахматных партий мастеров и пр. Сохранилась также автобиография отца, написанная им в конце 30-х годов, когда о своем происхождении нужно было писать с осторожностью. Привожу эту автобиографию отца полностью, так как она отражает требования того времени к подобного рода документам. Автобиография руководителя группой снабжения ленинградской конторы анилтреста Гатовского М.К. Я родился в г. Минске. Мой отец всю свою жизнь прослужил кассиром. Моя мать, обремененная большой семьей, занималась хозяйством. Мой отец был культурный человек и старался дать своим детям хорошее воспитание, к тому же он был свободомыслящий и, благодаря этому, все дети стали свободомыслящими и далекими от разных религиозных обрядов и обычаев. До четырнадцатилетнего возраста я занимался дома, особенно я проявлял способности к математике, отец решил определить меня в реальное училище. Для этой цели он пригласил репетитора, реалиста старших классов, который готовил меня в реальное училище. В 1890 году я поступил в третий класс реального училища. Я занимался хорошо, по математике во всех классах был отличник. Когда я был в 6 классе, директор реального училища, по совету учителя математики, пригласил меня заниматься с его сыном, учеником 7 класса гимназии, который был слаб в математике. С тех пор я вступил на педагогическое поприще и стал заниматься уроками, к тому же в это время мой отец подвергся операции и долгое время был прикован к кровати, и мне пришлось материально помогать своей семье. Перед экзаменами в 6 классе как-то в 11 часов вечера нагрянули к нам на квартиру классный наставник и надзиратель. Меня не застали дома: я был у товарища, и мы готовились к экзаменам. Осмотрев в моей комнате на этажерке мои книги, они нашли запрещенные в то время для учащихся книги: «Пчелы» Писарева, «Что делать» Чернышевского и «История цивилизации Англии» Бокля. Эти книги они конфисковали. По решению педагогического совета я был присужден к сидению в карцере 24 часа, и за последнюю четверть мне поставили 3 по поведению. Меня не хотели допускать к экзаменам, но по ходатайству у попечителя виленского округа и, приняв во внимание мои отличные отметки по учебе, меня к экзаменам допустили. Экзамены я выдержал на отлично, и мой аттестат был бы блестящий, если бы четверка с минусом не фигурировала в нем по поведению. Эта проклятая отметка по поведению испортила мою карьеру, и я не мог попасть в высшее учебное заведение. К тому же в моей характеристике было указано: политически неблагонадежный. По окончании Р.У. в 1895 году я стал заниматься уроками и решил собрать некоторую сумму денег и поехать за границу продолжить свое образование, но болезнь отца затянулась, и все мои заработки ушли на содержание больного отца и его семьи. По совету моего товарища, который прекрасно был устроен на службе в Лодзи, я тоже поехал в Лодзь, так как учительствовать мне надоело. По рекомендации моего товарища, я скоро поступил в Лодзинский торгово-промышленный банк в качестве корреспондента. С тех пор начинается мой служебный стаж, который указан в моем трудовом списке. Так неожиданно обрывается автобиография отца, затрагивающая лишь его молодые годы. Нетрудно заметить стремление отца подчеркнуть свое свободомыслие и происхождение из среднего сословия. В действительности, он происходил из весьма состоятельной семьи. Его отец был не кассиром, а владельцем пивоваренного завода в г. Минске, и он оставил своим детям, очевидно, неплохое состояние. Во всяком случае, в двадцатые годы его дети – две дочери Соня и Ревека с семьей и младший сын Яков с семьей жили в отличной многокомнатной квартире в самом центре Москвы (Петровка 16 кв. 7). Помню наши довольно частые приходы в гости на Петровку и шумную и приветливую атмосферу того дома, где особую роль играла незамужняя тетя Соня, тем более что тетя Ревека, как и ее муж – очень добрый и приветливый дядя Мирон (его фамилия Рубин), были глухонемые. Дочери глухонемой четы – Циля (1919 г. р.) и Фира (1914 г. р.) были вполне нормальными и в детские и юношеские годы славились своей привязанностью друг к другу. Младший брат отца – дядя Яков был очень красивым и обаятельным мужчиной, он женился поздно на красивой брюнетке Алтусе (по фамилии, кажется, Рифф). У Алтуса и Якова родилось трое детей: старшая, моя ровесница Рина, средняя Полина (1926 г. р.) и младший сын Леня (31 г. р.), который по документам

так же, как и я, назван в честь деда Клементием. Второй брат отца – дядя Лева был старше Якова, но моложе отца. Он женился также поздно на русской женщине, которую семья Гатовских, особенно тетя Соня, не хотела принять. Поэтому дядя Лева бывал на Петровке без жены, и я видел его всего несколько раз. Он запомнился высоким, стройным мужчиной. Как мне рассказали, у дяди Левы родилась дочка Люся приблизительно в конце двадцатых годов. Судьба дяди Левы и его семьи мне неизвестна. Чтобы закончить рассказ о родственниках по папиной линии, приведу те сведения, которые я знаю о семье тети Ревеки и дяди Якова. Еще до войны Цили вышла замуж за очень симпатичного человека Володю Бланка. Он занимал видное положение в министерстве электропромышленности (кажется, был начальником отдела снабжения министерства) и тепло относился к родственникам. Довольно часто у него были командировки в Ленинград, останавливался он у нас, а в послевоенные годы помогал нам доставкой дров, установкой телефона и пр. У Цили и Володи очень долго не было детей, и сразу после войны они взяли на воспитание девочку, которая в блокаду потеряла своих родителей. К этой девочке они относились с трогательной теплотой и в начале 1960 г. выдали ее замуж за армянина, с которым она уехала в Армению на постоянное жительство. В конце 40-х у Бланков родилась своя дочка, ее я видел уже барышней вместе с Инной в 1964 г., когда в последний раз навестил семью Цили. Тогда была еще жива тетя Ревекка, а тети Сони уже не было. Как я узнал из телефонного разговора с Ленией Гатовским перед отъездом в Израиль, Володя умер, а его родная дочка вышла замуж тоже за армянина. О семье Фиры знаю очень мало. Она поздно вышла замуж за Леву, и у них родилась дочка. Замужнюю Фиру и ее мужа я не видел. Известно, что после замужества Фиры у нее с Цилей произошел полный разрыв. Их отношения и, очевидно, дележ наследства решались в суде. Фира с семьей переехала в Ригу, где уже жила ее двоюродная сестра Рина с семьей. Теперь о семье дяди Яши. Сам дядя Яша в 1938 году был репрессирован и сослан в Казахстан. (В его записной книжке нашли фамилию какого-то «врага народа»). К нему на поселение приезжала тетя Алтуся, но в военные годы он там умер. Его дочь Рина была необыкновенно красива – высокая, стройная, жгучая брюнетка, очень уверенная в себе. Володя Бланк познакомил ее с молодым директором электротехнического завода в г. Риге – Мишей Дейчем, и вскоре состоялась их свадьба. В конце сороковых у них родилась дочь. Жили они в Риге и имели прекрасную дачу на Рижском взморье. Тем не менее, в начале 90-х они эмигрировали в Германию и живут теперь в Берлине. Сестра Рины – Полина вышла замуж за Илью Блезер, который вскоре после женитьбы был осужден за какие-то спекулятивные махинации и сослан, кажется, в Сибирь. У Полины также родилась дочка. Вскоре после Рины Полина также эмигрировала в Германию, где, как и Рина, живет в Берлине с детьми и внуками. Наконец, о моем двоюродном брате Лене (Клементии Яковлевиче Гатовском). К сожалению, контакты со всеми родственниками по папиной линии были крайне редкими. Леню я видел и помню еще молодым человеком в конце 50-х годов. С тех пор я его не видел. Но перед отъездом в Израиль Инна, оформляя документы на отъезд в Москве, навестила его, а затем из Ленинграда я благодарил его за теплоту приема, оказанного Инне. От Лени я узнал и все новости о папиных родственниках. Сам Леня в 1993 г. работал инженером в закрытом заведении. Его жена Лара (на четверть еврейка) вместе с Полиной как-то в начале 1990 г. побывали у нас на Расстанной. У Лары и Лени – сын Юра и внук. В 1993 г. они жили в Москве (Щербаковская ул. д. 40-42 кв. 235, тел. 369-71-67). Восстановить связи с папиными родственниками можно только через Леню. Возвращаясь к рассказу об отце. Очевидно, большая возрастная дистанция (он вполне мог быть, а иногда и воспринимался незнакомыми как мой дедушка) приводила к тому, что у меня не было душевной близости с отцом. Не помню, чтобы я с ним советовался или обсуждал свои проблемы, даже выбор института. В 30-е годы он работал агентом по снабжению, и я полагаю, что эта работа его тяготила, так же, как и тяжелое материальное положение нашей семьи. Достаточно сказать, что в конце 30-х годов родители вынуждены были сдавать чужому мужчине угол одной из двух наших комнат, отгораживая его кровать и стол ширмой. К этому времени и, особенно, с началом войны отец очень сдал и пал духом морально. 10 марта 1942 года он умер от дистрофии, и я отвез его тело на саночках в морг на ул. Марата. Теперь о маме. Я очень ее любил и всегда чувствовал особенно нежное ее отношение ко мне. Вспоминать о маме мне тяжело, вся ее жизнь была нелегкой, а последние годы были трагическими. Отец матери – Гершель Либерсон жил со своей большой семьей в местечке Расаско под г. Оршей и, кажется, имел свою мельницу. В 1910 году его старшая дочь Нина (Нехама) вышла замуж за своего двоюродного брата со стороны отца – Бориса Либерсона. Молодожены переехали в Москву и купили квартиру на Арбате (д. 30 кв. 5). Там, на Арбате, родилась в 1916 году моя двоюродная сестра Валя, а также другие мои двоюродные братья и сестры, и мы с сестрой, так как вскоре после переезда в Москву т. Нина и д. Борис купили еще одну квартиру на Знаменской, а квартиру на Арбате предоставили моему дедушке и его детям. На Арбате поселились тогда еще незамужние две его дочери – моя мама Эсфирь и младшая дочь Мэра, а также дочь Роза с семьей (д. Сендером и сыновьями Изей и Ноней). У дедушки было три сына – Моисей, Осип и Наум (не считая умершего в детстве Левы). Наум (Ноня) был идейным коммунистом,

несмотря на молодость (ему было 18 лет). В 1918 году он был секретарем г. Пензы, но во время чехословацкого мятежа в том же году был расстрелян. В Пензе была улица Либерсона, а дедушка был в связи с расстрелом сына пожизненно персональным пенсионером. Умер он в 1935 году. Моисей и его жена Зина были бездетны, жили недалеко от Арбата, и в военные и послевоенные годы (во время командировок в Москву) я их навещал. Дядя Осип занимался коммерцией в годы НЭПа, но затем у него были неприятности, и он был вынужден в 30-е годы поселиться в Сибири в г. Барнауле, но перед войной он переселился в г. Химки под Москвой. У Осипа и его жены Розы были две дочери и сын Изя. Сын в 1944 году, будучи начальником цеха авиационного завода, погиб в автомобильной катастрофе. Старшая дочь Вера вышла замуж в 1944 году за ортодоксального еврея Исаака (я был на их свадьбе). Их дальнейшая судьба, так же как и ее сестры Фриды, мне неизвестна. Старший сын Розы Изя Рабинович 1914 г. р. был незаурядной личностью, в войну и после войны работал ответственным секретарем редакции (окончил истфак МГУ), женился в 1946 году на Белле, и у них родился сын Гарик. В 70-е годы Гарик эмигрировал в Америку, а Изя года два тому назад умер. Ноня (1921 г.р.) в войну служил на Дальнем Востоке, после войны окончил мединститут и работал хирургом сначала где-то в Сибири, а затем в больницах Москвы. О его личной жизни знаю мало, он женился на однокурснице (русской), у них родилась дочка, но в отношениях с женой у Нони были трудности. Умер Ноня, кажется, в 1988 г. Тетя Мэра в середине 20-х годов вышла замуж за человека много старше себя, но очень образованного и интеллигентного – дядю Сеню. Вскоре у них родилась дочка (Витта), но она умерла в младенческом возрасте, а в 1929 году родилась дочка Элла. В начале 50-х годов Элла закончила пединститут и по распределению поехала учительствовать в г. Жигулевск (под Куйбышевым). Там она неудачно вышла замуж за учителя физкультуры Володю Седова, но вскоре вернулась в Москву, где родила в 1953 году сына Мишу. С мужем она развелась и в дальнейшем жила в Москве с родителями и сыном и работала директором школы. И в молодости, и даже в зрелые годы Элла отличалась необыкновенной красотой, была коммуникабельна с широким диапазоном интересов. И обидно, и удивительно, что личная жизнь у нее не сложилась. Миша окончил театральное училище, женился на правнучке Горького, но вскоре развелся и женился вторично. От первой жены растет внук Эллы Тимофей, а Миша, будучи замдиректора Мосцирка (Никулина), трагически погиб в 1994 году (был застрелен киллером в парадной). Сейчас Элла живет в Москве, работает референтом в театре Маяковского и поддерживает постоянные контакты с Валеи и Ароном. Единственно близкими родственниками нам были и остаются семья т. Нины во всех поколениях, и о них речь впереди. Возвращаюсь к рассказу о маме. Она поздно, в 38 лет, вышла замуж. О ее жизни до замужества знаю очень мало. Она сдала экстерном экзамены на фармацевта и всю свою жизнь, до выхода на пенсию, работала в аптеках. Ей пришлось ухаживать за больной раком матерью и сопровождать ее на лечение за границу в десятые годы. Жизнь мамы после замужества можно разбить на четыре периода: московский (с 21 по 30 годы), довоенный ленинградский, война и первые послевоенные годы (с 41 по 48 годы) и пенсионный, сопровождаемый прогрессирующей болезнью Паркинсона (с 49 по 63 годы). Полагаю, что самый счастливый для нее был московский период. У нее, наконец, семья, живет она среди близких родственников, муж в период НЭПа неплохо обеспечивает семью материально, и в семье живет домработница – няня Фрося; родственники мужа относятся к маме очень внимательно и тепло. Но в конце двадцатых годов у отца какие-то неприятности; и он уезжает в Ленинград, где живет в семье тети Нины. К этому времени Либерсоны поменяли свою квартиру на Знаменской на барскую квартиру в Ленинграде на ул. Герцена д. 49 кв. 2, где т. Нина имела свой зубокабинет. В связи с этим в 1930 г. состоялся обмен наших двух комнат на Арбате на две комнаты в квартире на ул. Рубинштейна д. 27 кв. 7 в Ленинграде, и наша семья переезжает на постоянное жительство в Ленинград. Мне 6 лет, сестре – 8, но родители сразу же начинают работать. Мама – лидер в семье, она принимает решения, на ней – все покупки, готовка, уборка. Этот период жизни нашей семьи уже на моей памяти и теперь, вспоминая его, диву даюсь, как это мама все успевала. Она была деловой, практичной, аккуратной и очень организованной. Все делала как-то незаметно, без лишних слов, самоотверженно, отдавая семье все свое время. При этом, для увеличения заработка, часто соглашалась на ночные дежурства в аптеке. Отношения между мамой и папой были равные; не помню, чтобы они спорили или пререкались, но в то же время не чувствовалось теплоты. Жизнь родителей протекала как-то буднично, однообразно. Не помню, чтобы они ходили в театр и даже в кино, постоянные контакты были только с семьей т. Нины, других близких родственников в Ленинграде не было, близких знакомых они тоже не имели. По семейным праздникам к нам в гости приезжала семья т. Нины, но чаще мы всей семьей приезжали на Герцена. Несмотря на очень скромный семейный бюджет, родители стремились на летний сезон вывести детей за город и снимали дачи. Помню очень хорошо комнату, которую мы снимали в двухкомнатном домике в пос. Глазово под Павловском в 1936 году, а также дачу, которую мы снимали в Ст. Петергофе вместе с т. Ниной в 1939 году, и дачу также в Ст. Петергофе, которую снимали в 1940 году. В первые же недели войны маму как

медработника мобилизовали. Дело в том, что в паспорте год рождения мамы значился 1893 вместо 1883, и по возрасту она подлежала мобилизации. Именно это обстоятельство для нашей семьи было судьбоносным. Маме присвоили звание мл. лейтенанта и назначили помначальника аптеки в эвакогоспиталь. Только благодаря этому в блокаду не вымерла вся семья. Мама не только приносила из госпиталя часть своего пайка, но иногда брала меня с собой в аптеку госпиталя и там подкармливала, а сестру устроила работать медсестрой, правда, уже перед эвакуацией госпиталя из Ленинграда. По мере продвижения линии фронта на восток перебазировался мамин эвакогоспиталь, и к концу войны он оказался в Германии в г. Франкфурте на Одере. Там она и была демобилизована и осенью 1945 вместе с дочерью вернулась в Ленинград. Я возвратился в Ленинград несколько раньше и жил у т. Нины, хотя наши комнаты в кв. на Рубинштейна сохранились в неприкосновенности. Мама сразу же начала работать в аптеке рядом с домом (на Владимирской площади) в ручном отделе, и я ее часто навещал во время работы. Жизнь в первые послевоенные годы была тяжелая, полуголодная; денег не хватало, хотя мама, сестра и я работали. (Я перевелся с дневного отделения на вечернее и поступил работать техником-конструктором в проектную организацию Второе ГСПИ – гос. союзный проектный институт, а сестру Валя устроила работать на завод КИНАП, где работала сама.) Незадолго до денежной реформы 1947 года мама продала свое каракулевое манто, но вследствие реформы часть денег пропала. В 1948 г. у мамы началось дрожание рук, и все в большей степени сказывался возраст. Работать ей стало трудно, и она перешла на пенсию. Болезнь ее постепенно прогрессировала, началось дрожание подбородка, менялось выражение лица, возникали трудности с ходьбой. К концу 50-х годов мама стала инвалидом первой группы. Она не могла обходиться без посторонней помощи. Особенно страшным был последний год ее жизни. Она не могла сама вставать со стула, с кровати. Нанятая сиделка оказалась алкоголичкой и тайно продавала мамины вещи, которые можно было продать, а пришедшая на смену другая сиделка оказалась не чистой на руку и выдаваемые на питание деньги присваивала. В течение последнего года сестра полностью отстранилась от матери и не подходила к ней ни днем, ни ночью. Трудно представить большую жестокость и бессердечие. Мама умерла 30 августа 1963 года, когда семья сестры была на Кавказе. Воспоминание о ее последнем периоде жизни – моя постоянная и не проходящая боль, а отношения с сестрой и ее семьей были мною полностью порваны еще задолго до смерти мамы. Похоронена мама на еврейском кладбище в С.-Петербурге, рядом с могилой т. Нины и д. Бориса. На этом хочу закончить сведения о родителях и родственниках и перейти к моим ранним воспоминаниям, относящимся к московскому периоду. Известно, что трудно отличить собственные ранние детские впечатления от возникших по рассказам взрослых. Но я четко помню необычную обстановку в квартире на Арбате, когда все разговаривали шепотом или молчали, ходили медленно, но особенно запомнились подавленные т. Мэра и д. Сеня: умерла их первенец – дочка Витта. Мне было тогда около 4 лет. Сильное впечатление на меня произвела торжественность обстановки и службы в церкви, куда, очевидно, на пасху меня повела няня Фрося. Я уже упоминал о частых наших походах всем семейством в гости на Петровку к папиным родным, где мы были окружены очень внимательными, доброжелательными и шумными тетями, дядями и двоюродными сестрами. Однажды, когда мы возвращались с Петровки, я шел впереди родителей и, о чем-то задумавшись, прошел нашу парадную и продолжал шагать по Арбату до Смоленской площади, а родители предполагали, что я пошел домой. На площади прохожие заметили, что маленький мальчик идет без сопровождения взрослых и подозвали милиционера. Он меня расспросил, где я живу, и повел за руку домой (адрес я ему сказал правильно). Когда он привел меня домой, в квартире стоял крик. Особенно негодовал дедушка, ругая моих родителей. Сохранились в моей памяти и виды Москвы 20-х годов. Например, здание Моссельпрома вблизи Арбатской площади (которое изображалось на некоторых фантиках), казалось мне очень большим и величественным. Когда же впоследствии я увидел его, то был удивлен его заурядностью. В 1930 году наша семья переехала на постоянное жительство в Ленинград. Родители сразу же начали работать, а я – много времени проводить во дворе смежного дома; наш двор был очень маленький, и там дети не гуляли. Этот соседний дом был очень большим, шестиэтажным, имел парадный и задние дворы, а также свой садик. Среди жителей было много людей состоятельных и интеллигентных и, как потом выяснилось, известных (семья Райкиных, поэт Л. Хаустов, декан ЛКИ В.В. Рождественский и др.). Я быстро познакомился и подружился на долгие годы (вплоть до войны) с Юрой Афонькиным и Аликом Сватиковым. Юра, несомненно, был самым близким моим другом в школьный период. Многие годы мы сидели с ним за одной партой, в том числе. И в выпускном 10 классе. Но еще в дошкольный период я бывал у него дома и знал его семью. Он жил с мамой (обрусевшей немкой), родным братом Мишей и двоюродным братом Игорем. (Отца я не застал, он был репрессирован по 58-й статье и погиб). Братья были лет на 10-12 старше Юры и имели на него большое влияние. Может быть, благодаря брату Юра значительно опережал сверстников по развитию, был очень начитан и умел интересно пересказать прочитанное. Помню, во время прогулок вокруг Юры

собиралась большая компания мальчиков, и он рассказывал прочитанные книги, как правило, приключенческие романы Жюль Верна, Майн Рида, Хоггарда, В. Скотта, Марка Твена и др. Рассказывал он очень подробно, и иногда пересказ романа шел с продолжениями в течение нескольких прогулок, каждая из которых продолжалась часами. Но основное время во дворе мы, конечно, проводили в играх. Самой распространенной из игр была, пожалуй, лапта. Но много играли и в казаки-разбойники, волейбол, футбол. Когда мне было лет 10, Юра сообщил, что брат научил его играть в шахматы, и он может научить меня. Юра объяснил мне правила, и мы начали играть. Случайно первую партию выиграл я, и, очевидно, Юру это расстроило, а меня вдохновило. Во всяком случае, Юра шахматами не увлекся, а у меня шахматы стали основным хобби на всю жизнь. В 1931 году, когда мне было 7 лет, родители решили определить меня в нулевой класс (в первый брали с 8 лет), подготовительный. В школе проверили мою подготовку и рекомендовали родителям записать меня в 1-й класс. Это обстоятельство сыграло важную роль в моей жизни, так как я окончил школу допризывником, но об этом речь впереди. Юру, которому уже исполнилось 8 лет, мама тоже записала в 1-й класс. Таким образом, мы с Юрой оказались в одном классе и посадили нас вместе за одной партой. В последующие годы в наших с Юрой отношениях были и периоды охлаждения и сближения. Во всех классах Юра был первым учеником, его сочинения часто зачитывались вслух и производили на нас большое впечатление не только эрудицией автора, но и зрелостью его суждений. Пожалуй, только по математике я чувствовал себя увереннее, чем он. Но прежде, чем продолжать школьные воспоминания, хочу вернуться к дворовым. Нашим общим с Юрой другом был Алик Сватиков. К сожалению, Алика записали в другую школу (первую образцовую), и он шел классом ниже, чем мы с Юрой (он, как и я, родился в 1924 г.). Но, несмотря на это, мы продолжали дружить с ним все школьные годы и часто встречались не только во время прогулок, но и в домашней обстановке, а также в походах в музеи, театры, кино. Мама Алика – Елизавета Яковлевна – была родной сестрой Таирова и профессиональной певицей. Она часто гастролировала с концертами, а Алеша оставался с папой и няней-домработницей. Дни рождения Алика отмечались широко. Он приглашал большую группу одноклассников, среди которых были интересные ребята, и нас с Юрой. Папа Алика заранее готовил различные игры, шутки, забавы, и всегда было весело и интересно. В периоды гастролей камерного театра в Ленинграде Алеша брал у дяди контрамарки, и мы смотрели все привозимые в Ленинград спектакли Таирова. Особенно большое впечатление на меня произвел спектакль «Мадам Бовари» с А. Коонен в заглавной роли. Незадолго до войны отца Алика репрессировали, и он пропал, а Алик с мамой в первые месяцы войны эвакуировались и все военные годы жили в Барнауле в семье Таирова (у Таирова и Коонен своих детей не было, и они относились к Алеше как к приемному сыну). В одну из моих командировок в Москву после войны (в 48 или 49 г.) я как-то узнал телефон Алешки и перед отъездом позвонил ему. Он приехал на вокзал повидаться и проводить меня. Встреча была очень теплой, но, к сожалению, короткой. Алеша сообщил, что он работает переводчиком в ТАСС. Это была моя последняя встреча с Алешей, переписка у нас не завязалась, а о его дальнейшей судьбе знаю по слухам. Алеша серьезно увлекался поэзией, сам писал стихи, посещал литкружок. Как-то во дворе мы с Алешей гуляли, подошел Л. Хаустов и стал обсуждать стихи Алешки. Он резко критиковал и, на мой взгляд, говорил что-то обидное Алеше. Я вступился за Алешу и получил хорошую встряску от Леонида Хаустова (он был года на четыре старше). Кстати, Алик своим друзьям писал шуточные посвящения. Помню, мне было написано такое: Ты один из прекрасной плеяды Наилучших моих друзей! Сядем, Кома, с тобою рядом И никаких гвоздей! В наших играх во дворе часто принимал участие брат Леонида Славик, почти наш ровесник. Славка женился на Нине – известной балерине Нине Хаустовой. Я не помню, чтобы по отношению ко мне во дворе проявлялись антисемитские выходки. Вместе с тем, я был многократным свидетелем безобразных действий группы ребят, которые, предводимые сыном дворника – хромым Ванькой, шли «громить хайдеров». Дело в том, что в одной из квартир на первом этаже проживала многодетная еврейская ортодоксальная семья. Мальчики из этой семьи не гуляли во дворе, а всегда быстро проходили через двор в свою квартиру. Так вот, иногда, от нечего делать, кто-то в компании предлагал почти как новую игру – идти «громить хайдеров», и ватага ребят, человек 10-12, обзаводились палками и камнями и колотили в дверь и швыряли камни, выкрикивая ругательства и антисемитский бред. Каюсь, я молча издали наблюдал это безобразие, не решаясь на активный протест, понимая его бесполезность. Из дворовых знакомых упомяну еще Андрея Ротгольца и Максима Райкина. В большой квартире Андрея, где он жил с мамой, папой и собакой Ладой, мы иногда собирались и играли в длинном коридоре, бросая друг в друга мягкие игрушки. Но основное сближение с Андреем произошло летом в Глазове, где мы жили на дачах недалеко друг от друга. Андрей (он был старше меня на 3 года) заходил за мной, и мы уходили играть в парк или на теннисные корты. Андрей хорошо играл в теннис и был завсегдатаем на теннисных кортах Тярлево (поселок рядом с Глазово), а я за него болел. Кстати. На тех же кортах играл Яша Зельдович, будущий академик. В последующие годы контакты с Андреем практически прекратились. Он воевал, затем окончил

институт иностранных языков и был уже в зрелые годы зав. кафедрой иностранных языков в Холодильном институте. Максим Райкин моложе меня года на 2 или 3, и до войны мы с ним встречались только во дворе. Но сразу после войны, когда встреча с довоенными знакомыми была радостна, мы с ним сблизились, обменивались какими-то книгами. К тому времени он закончил техникум и размышлял над предложением брата начать обучение актерской профессии. Затем мы много лет не виделись. А в 64 году, когда были гастроли Райкина в Ленинграде, мы с Инной по контрамаркам от Максима смотрели спектакль при участии Максимова – М. Райкина. Несомненно, с двором мне повезло, он оставил заметный след и светлые воспоминания. Теперь вернусь к школе. Первые 4 класса у нас все уроки вела одна учительница – Евдокия Алексеевна. Это была маленькая, очень толстая старушка, которая учительствовала еще в дореволюционные времена. Она ровно относилась ко всем детям, и мы ее любили. В 34 году мы с мамой и сестрой выехали в Ессентуки на Кавказ, а по приезду, когда начались занятия в 4 классе, Евдокия Алексеевна просила меня перед классом рассказать о поездке. Очевидно, мой рассказ понравился, так как Евдокия Алексеевна не только поставила мне 5, но и просила его написать. Я и сейчас помню эпизоды поездки. Началось с того, что, пакуя вещи, мама уронила и разбила зеркало (плохая примета). Действительно, кассир выписал нам неправильно ж.д. билеты. Это обнаружилось при проверке билетов в пути, и контролер заявил маме, что мы, как безбилетные пассажиры, должны платить штраф. Доводы мамы на него не действовали. По мере удаления от Ленинграда контролер приходил в наше купе и объявлял все увеличивающийся размер штрафа. Где-то уже далеко от Ленинграда мама решила вернуться в Ленинград и уладить недоразумение, что мы и сделали, потеряв несколько дней. По приезду в Ессентуки мама сразу начала работать в аптеке, а я познакомился с сыном зав. аптеки – моим ровесником, и мы с ним проводили все дни вместе в городском парке. Как-то раз мы пускали кораблики под мостом ручейка и растормошили осиное гнездо. На нас напала стая ос и стала безжалостно жалить; мы бежали по парку, крича во все горло, но избавиться от преследования не могли. Запомнилась мне и обратная наша поездка в Ленинград через Москву, где мы остановились на несколько дней. Возвращаясь с Петровки на Арбат, мы проходили мимо дома Союзов и увидели большую толпу. Оказывается, там проходил 1-й Съезд писателей СССР, и все ждали выхода писателей. Вдруг одна из женщин громко крикнула: «Товарищ Маршак, напишите, пожалуйста, что-нибудь для наших детей». Но Маршака мы не увидели, он быстро прошел и сел в машину. На уроках Евдокии Алексеевны мы не только делились впечатлениями о проведенном в летние каникулы времени, но и пересказывали прочитанные произведения, входящие в программу. Юра Афонькин великолепно пересказал «Тараса Бульбу», мне выпало пересказывать "Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". На фоне Юриного пересказа мой выглядел неважно, тем более что и повесть невыигрышная, но Евдокия Алексеевна меня тоже похвалила. В 4 классе я сблизился с Левой Каценельсоном и часто бывал у него дома. Его дом и семья произвели на меня большое впечатление. Левин дедушка был известным общественным деятелем, просветителем, ученым и писателем (литературный псевдоним Буки Бен-Иогли). Он был одним из главных редакторов «Еврейской энциклопедии», вел переписку с Горьким, Короленко и другими известными людьми. Лева показывал мне семейный архив. Отец Левы преподавал математику в каком-то ВУЗе, а мать была главным врачом родильного дома на Кузнечном переулке. Был у Левы старший брат Миша, который учился в нашей школе, всегда был отличником и подавал большие надежды как музыкант (пианист) и композитор. Он ушел добровольцем на фронт и погиб. Каценельсоны жили в квартире деда. Когда я впервые пришел в их гостиную, то был удивлен богатством обстановки. Стены и потолок были отделаны резным деревом, мебель – музейная. Атмосфера в доме отличалась духовностью. Мы с Левой были свидетелями, как велись дискуссии на литературные и музыкальные темы среди друзей Миши и старшими Каценельсонами. Лева уже с детства проявлял способности к рисованию, и после 4 класса его перевели в школу при Академии художеств. В связи с этим наши дружеские связи постепенно слабели. В блокаду погибли родители Левы, и, вернувшись с войны, он застал только домработницу, прожившую в семье Каценельсонов всю жизнь. Так он и жил первые годы после войны со старушкой няней. Лева учился в Академии художеств и дружил с М. Шемякиным, а также хорошо знал Глазунова. О последнем он отзывался отвратительно и считал его бездарным, а о Шемякине – очень восторженно. Лева не стал художником, а посвятил жизнь коллекционированию произведений искусства. Он стал известным (даже за рубежом) собирателем. Мы много лет не встречались, но в 1979 году случайно встретились. Я с трудом его узнал, он был с маленьким мальчиком – сыном. Как-то он приезжал с сыном к нам на дачу на 69 км, а также с бывшей женой – на Расстанную. В 4 классе училась у нас девочка, отец которой был директором Михайловского театра. Он устраивал для нашего класса бесплатные посещения театра на утренние спектакли. Помню, что первое посещение театра произвело на меня очень большое впечатление. И многоярусный зал, и огромная сцена, и оркестр, и представление (ставили «Снегурочку») – все впечатляло, и мне казалось, что я сам оказался в сказке. В 5-7 классах я сблизился с разными

мальчиками, в том числе, с Саввой Клейнманом на базе увлечения волейболом и фотографией, с Сашей Кудряшовым – постоянным партнером в шахматах. Учеба давалась мне легко, и на домашние задания я тратил мало времени, к сожалению, не выходя за рамки программы. В 6 или 7 классе я оказался «героем» следующего происшествия. На перемене один из учеников (Загоскин) бросил в окно с 4 этажа стеклянную чернильницу – непроливалку. Она попала в прохожего и забрызгала ему чернилами пальто. Он со скандалом пришел к директору, и началось расследование с целью выявить виновника. Следует отметить, что директором школы была очень маленькая и ничем не приметная женщина – Галина Абрамовна Ботвинник. Она вела скучно и неинтересно уроки истории. Настоящей хозяйкой школы была завуч – Ольга Алексеевна Бильтюкова, которая вела математику в старших классах. Высокая, с царственной осанкой, она пользовалась любовью и уважением всей школы. Придя в наш класс вместе с директором, она заявила, что занятия прекращаются и не начнутся, пока не выяснится, кто бросил чернильницу. Класс молчал. К концу дня стали проверять, у кого испачканы в чернилах руки. Оказалось, что руки в чернилах у меня и у Саввы. Поэтому решили нас не допускать на уроки и вызвали наших родителей. Два дня мы пропускали занятия. Наконец, по требованию ребят, Загоскин признался в содеянном. Кстати, Загоскин был самым высоким в классе, а я самым маленьким; и мы однажды с ним пришли на школьный карнавал как Пат и Паташон и получили приз за костюмы. (Отец Загоскина был первоклассным портным.) Как-то, в классе 6-м, мы с мальчиками поехали на озера в Озерки купаться. У берега обнаружили плот, и меня, не умеющего тогда плавать, посадили на плот и стали его отталкивать от берега. Довольно далеко от берега плот перевернулся, и я оказался в воде. В сопровождении мальчиков я по-собачьи поплыл. Так я научился плавать. <Время от времени в классе выпускалась стенная газета. Ее ждали и с интересом читали. Я входил в редколлегия. Помню, в связи с процессами «вредителей» мы выпускали газету, где был помещен такой опус: Презренные враги советского народа, Пробравшись в сердце Родины, в Москву, Такие, как Бухарин, Рыков и Ягода Затеяли новую, кровопролитную войну. Вместе с Троцким планы создавая, Хотели счастьем народному мешать. Наш Куйбышев, Менжинский, Горький Погибли от кровавой их руки. Но глаз Ежова и чекистов зоркий Сумел фашистских вырождков найти. >Очевидно, в 37 г. мы были еще слепы, не относились критически к событиям, и все воспринимали с детской непосредственностью. Хотя, быть может, уже тогда мы раздваивались и писали в газету то, что требовалось, а думали иначе. В 8 классе меня и Юру Афонькина учитель математики готовил к участию в городской олимпиаде. Олимпиада проходила в два этапа: первый – районная, проходила в первой образцовой школе на Фонтанке, второй – городская, во Дворце пионеров. Мы с Юрой прошли успешно первый этап, а на втором этапе я, как потом выяснилось, решил все задачи правильно и был объявлен победителем, а Юра с заданием не справился. Помню, когда я сдавал решения задач, со мной беседовал проф. Фихтенгольц – председатель жюри. Результаты олимпиады сообщили в школу, и как-то перед уроком математики завуч О. Ал. пришла в класс и объявила, что может порадовать нас – один из участников математической олимпиады стал победителем. Затем последовала пауза – все ждали, что она назовет Афонькина, но она назвала меня. После этого моя репутация лучшего математика класса сохранилась до окончания школы. В нашей школе был драматический кружок, над которым шефствовали артисты театра Радлова (он находился почти против школы). Спектакли кружка являлись событием. Помню, какое сильное впечатление на меня произвела постановка «Медведя» по Чехову. Главные роли играли Ося Ремез (впоследствии известный режиссер) и Вера Иконникова из нашего класса. Кстати, наши шефы устраивали для учеников школы бесплатные посещения спектаклей театра Радлова. Я испытал потрясение после просмотра в этом театре драмы Ибсена «Привидение», где роль матери исполняла Якобсон, а сына – Всеволожский. Вообще в старших классах у меня была высокая театральная активность. Кроме спектаклей театра Радлова, я просмотрел, покупая самые дешевые билеты на галерку, весь репертуар театра Пушкина («Таланты и поклонники», «Лгун», «Лес», «Маскарад», «Суворов» и др.) Но самое светлое воспоминание о школьных годах у меня связано с Дворцом пионеров. В старших классах учителем немецкого языка у нас был Самуил Осипович Вайнштейн – человек очень добрый и интересный. В 1914 г. он как профессиональный шахматист участвовал в шахматном турнире в Германии и в связи с войной был интернирован и находился в Германии лет пять, поэтому отлично знал немецкий язык. С открытием Дворца пионеров его назначили директором шахматного клуба. По совместительству он учительствовал в нашей школе. Зная мою увлеченность шахматами, он сделал меня членом клуба, и я много счастливых часов провел во Дворце пионеров, играя в шахматы и часто бывая во Дворце. Теперь несколько слов о моих школьных соучениках. Несомненно, самым начитанным и образованным был Юра Афонькин, о нем я уже писал. Дополню только, что после окончания школы его, как и всех ребят, направили в военное училище, после окончания которого он где-то служил, но непосредственно в боевых операциях не участвовал. После войны он закончил институт иностранных языков и был доцентом Университета. Кроме того, он стал переводчиком художественной литературы,

в частности, перевел на русский язык роман Ремарка «На западном фронте без перемен». После войны встречи с Юрой были очень редкими, а затем и совсем прекратились. В 1984 мне позвонил Савва и сообщил, что Юра умер, и я был на его отпевании в церкви. Наш 10-й класс окончили 13 юношей и 14 девушек. Из 13 юношей один – Наум Орнштейн – был белобилетником, а я допризывником. Всех остальных ребят после окончания школы мобилизовали и направили в военные училища, после учебы в которых многие попали на фронт. На войне погибли три человека (Ося Бамм, Боря Зайцев и Леня Иванов), инвалидом (без ноги) вернулся Витя Капустин, а остальные 7 человек прошли войну благополучно. Некоторые из них после войны поступили в ВУЗы и получили высшее образование. Савва Клейнман стал архитектором, Вова Минин – учителем немецкого языка, Женя Богомолов – хирургом, Саша Фролов – юристом. Саша Кудряшов стал профессиональным военным, служил на Сахалине и после войны некоторое время переписывался со мной. Из девушек самую блестящую карьеру сделала Китя Вермишева, она поступила во ВГИК и стала известным кинорежиссером, получила звание народной артистки СССР. Она была на год или два старше других девушек, очень уверенная в себе, училась средне и не вызывала, во всяком случае, у меня, симпатию. Почти круглой отличницей была Мура Файнштейн, девушка очень старательная. Ее мама была нашей «классной дамой» и целые дни находилась в школе при дочери. Мура стала врачом, работала в «Свердловке», но я встречался с ней после войны только случайно. Приятной и очень компанейской девушкой была Ксана Дроздова. У нее была нежная дружба с Юрой Афонькиным, и их взаимное восхищение друг другом переросло к концу школы в более глубокое чувство, и, если бы не война, оно получило бы логическое завершение. Но случилось так, что во время эвакуации Ксана с мамой оказались где-то на Урале в очень трудных условиях, а переписка с Юрой оборвалась. В это время она познакомилась с молодым рабочим – хорошим человеком, который ей очень помог, и вскоре они поженились. У них родилась очень удачная и способная девочка, которая закончила ЛГУ и вышла замуж за сына академика Пиотровского – директора Эрмитажа. В 1981 году в связи с 40-летием окончания школы Ксана была инициатором встречи и собрала у себя школьных соучеников. На нее приехали: из Риги – Богомолов, из Астрахани – Вера Иконникова, и были многие ленинградцы, но встреча прошла, вопреки ожиданиям, довольно вяло. В последующие годы я иногда с Ксаной перезванивался, и она несколько раз приезжала на Расстанную и даже была на отъездной перед нашим отъездом в Израиль. В нашем 10 кл. училось 4 еврейских мальчика и 3 девочки. Среди учителей школы тоже было много евреев. В других классах школы еврейские дети были активны и выделялись (лучший артист – О. Ремез, лучший волейболист – Л. Гурецкий, лучший музыкант – М. Каценельсон и т. д.), но никаких проявлений антисемитизма не было. Более того, национальностью учеников никто не интересовался, а среди близких моих друзей были и евреи, и русские. Закончить о школьном периоде хочу воспоминанием о выпускном вечере. Субботний вечер 21 июня 1941 г., актовое здание школы переполнено, выпускники и их родители, ученики младших классов, учителя. За столом президиума – директор и завуч. После короткого поздравления с окончанием школы и доброго напутствия начинается выдача аттестатов. Первым вызывается к столу президиума Юра Афонькин, а вторым, совершенно неожиданно для меня, называют мою фамилию. Я знал, что в параллельном классе есть несколько отличников и предполагал очередность. Я настолько растерялся, что вызвал смех в зале, и не помню, что мне сказала О. Ал. при выдаче аттестата. После торжественной части был концерт, а затем выпускники и некоторые учителя совершили ночную прогулку по городу. Помню, что мы гуляли на Елагином острове и под утро возвращались домой. А в 12 часов ночи 22 июня мы с Юрой куда-то шли по Щербакову переулку и из репродуктора слышали Молотова, известившего о войне. Помню, что меня охватило чувство тревоги, и мы тут же вернулись домой. В первые дни войны еще сохранялась инерция мирного времени, и не осознавалась вся серьезность положения, хотя сводки с фронтов были устрашающие. Где-то в июле я подал документы в Лен. Авиационный институт на самолетостроительный факультет и был зачислен без экзаменов на 1 курс. Институт находился на окраине Ленинграда, и добираться до него нужно было с пересадкой у кольца трамвая (у Благодатного) на подкидыше до Средней Рогатки. В конце августа состоялось собрание студентов, зачисленных на 1-й курс, на котором объявили, что начало занятий откладывается и в сентябре студенты будут направлены на оборонные работы. В первых числах сентября нашу группу, которую помню плохо, вывезли на Пулковские высоты рыть окопы. 8 сентября мы находились в районе Пулково, когда был первый налет немецких бомбардировщиков на Ленинград. Мы оказались под бомбежкой, студенты в беспорядке, пешком возвращались в Ленинград. При подходе к городу мы увидели очаги пламени – горели Бадаевские склады, где были сконцентрированы запасы продовольствия для жителей города. Кроме того, от первой бомбежки пострадали многие жилые дома. С большим беспокойством я приближался к дому. К счастью, наша улица не пострадала. Но многие дома в районе были разрушены, в частности, дом 74 на ул. Марата, где жил Саша Кудряшов. У него погибли мама, бабушка, дедушка, остался только младший брат, который спустился в бомбоубежище. Домой я принес подобранную в Пулково

немецкую листовку с призывом: «уничтожать комиссаров и жидов». Когда я показал эту листовку папе, он решил, что это фальшивка – цивилизованные немцы, мол, не могут призывать к убийству евреев. Вскоре начались занятия в институте. Состав преподавателей был очень сильным. Например, металловедение артистично читал академик Одинг И. А. (Его первая фраза – металл есть кристалл!), аналитическую геометрию – профессор Кречмар (он вскоре умер от дистрофии), начертательную геометрию – профессор Рынин, учебник которого рекомендовался во многих ВУЗах и т. д. Занятия в институте на Средней Рогатке, в здании бывшего монастыря, продолжались приблизительно до середины ноября, а затем, в связи с приближением линии фронта, институт переехал в здание на углу проспекта Майорова и Садовой улицы. Но к этому времени занятия уже практически прекратились, и студенты приходили в институт, главным образом, для получения продовольственных карточек. Хотя по некоторым предметам занятия продолжались до конца декабря и даже принимались зачеты, но посещаемость была уже ничтожной, а по некоторым предметам вообще занятия уже не велись, так как преподаватели либо уже умерли, либо были не в состоянии добраться до института. Точно не помню, но думаю, что в декабре я еще посещал занятия, во всяком случае, знания, которые я получил в Ленинграде, позволили мне сдать экзамены за первый семестр в МАИ вполне успешно (уже в Алма-Ате), почти не посещая занятий. Среди студентов нашего потока были замечательные ребята и девушки, но помню я, главным образом, тех, с которыми встречался в эвакуации. С введением продовольственных карточек (наверное, с октября) началось систематическое недоедание, которое постепенно с уменьшением норм на хлеб и крупы и исчезновением домашних запасов, переходило в голод. Уже к концу ноября, с наступлением холодов, положение в городе стало критическим, а в декабре началась массовая смертность от дистрофии. Как-то, наверное, в начале декабря, я навестил Валю. Она жила одна, так как ее родители уже в августе эвакуировались в г. Саранск. Жить одной в условиях блокадной зимы было и трудно, и опасно, и я предложил Вале переехать к нам, на Рубинштейна. Она согласилась. Вся наша семья и Валя и жилец расположились в одной комнате (вторую закрыли), в которой установили около голландской печки буржуйку – маленькую металлическую печурку, которая нагревалась очень быстро от горящих щепочек и бумаги. Вокруг буржуйки все обогревались, а на ней сушили сухарики, причем каждый разрезал свой паек хлеба на сухарики и сушил их самостоятельно, а затем распределял их на три раза – на завтрак, обед и ужин. В самое худшее время и завтрак, и обед, и ужин были одинаковы и состояли из кипятка и сухариков. Сухарики прожевывали долго и тщательно, и они казались необыкновенно вкусными. Мы мечтали о том времени, когда можно будет засушить столько сухариков, чтобы ими насытиться. В какой-то период в водопроводе замерзла вода, и я за водой шел с бидонами на Фонтанку, где черпал неочищенную воду из проруби. На улицах часто можно было встретить человека, тянущего саночки, на которых лежал завернутый труп. Некоторые квартиры вымерли полностью, в частности, в нашем доме квартира ортодоксальных евреев. В декабре умер наш жилец, и его труп отвез на саночках в морг его знакомый. Самая низкая норма хлеба – 125 грамм – была, как мне помнится, в январе. Хлеб был глинистый, очень низкого качества. С введением в строй дороги по льду Ладожского озера (дороги жизни) стали увеличивать нормы, и вновь началась эвакуация жителей города. Вскоре воспользовалась этой возможностью Валя и эвакуировалась к родителям в Саранск. 10 марта, как я уже писал, умер папа, а вскоре я узнал, что мой институт начал эвакуацию на Кавказ и что уже две партии студентов и преподавателей выехали, в том числе, и мои однокурсники. Я записался на эвакуацию, и 30 марта мама провожала меня на Финляндский вокзал, где была посадка на поезд, который отвозил на Ладожское озеро. Переправа на льду озера производилась на грузовиках, и 2 апреля нашу партию переправили на большую землю, где впервые по эвакуодостоверениям мы имели возможность удовлетворить чувство голода. Итак, для меня закончилась кошмарная голодная блокада. Выехал я в состоянии дистрофии, и, несомненно, пережитое оставило след не только на физическом, но и на психическом состоянии. Я видел большое количество умирающих, и, очевидно, у меня притупилось чувство сострадания и сопереживания. Эвакуация на Кавказ продолжалась две недели, мы ехали в товарных вагонах, спали вповалку на нарах. Некоторые из выехавших умирали в пути. В нашем вагоне все завшивели, и избавиться от вшей было невозможно. В середине апреля мы, наконец, прибыли в Кисловодск, где в санатории «Ласточка» располагалась администрация нашего института, и нас расселили по частным квартирам. (Некоторые местные жители добровольно предлагали ночлег блокадникам). Я поселился в квартире довольно интеллигентной четы, но прожил у них всего несколько дней, так как заболел сыпным тифом (последствие эвакуации в теплушках), и меня еще в состоянии дистрофии отвезли в больницу на станции «Минутка» под Кисловодском. Целый месяц пролежал я в больнице, и никто мною не интересовался (однокурсники и не знали, что я в больнице). Помню, когда я вышел из больницы, у меня подкосились ноги, и я сел на камень и долго отдыхал. Как добрался до Кисловодска, до санатория «Ласточка» и куда меня поселили после больницы, не помню. Но восстановление здоровья шло быстро, и очень скоро я был уже в норме. В Кисловодск были эвакуированы многие ленинградские ВУЗы, и улицы были заполнены

студентами; несмотря на военное время, молодежь вела шумную жизнь, собирались компаниями, гуляли в парке, пили нарзан. Условия жизни способствовали сближению, и я сблизился с моими однокурсниками Юрой Коганом, Женей Юдиным и несколько позже с Гилей Раером. С Юрой Коганом мы были в одной группе, и еще в Ленинграде я оценил его и питал к нему большую симпатию. На лекциях он всегда сидел с Раечкой Маниловой, с которой учился в одном классе в школе. Наша ленинградская группа была очень сильная, сформирована из отличников, и, тем не менее, Юрик выделялся, и вокруг него и Раечки всегда было оживленно. Он всегда шутил очень по-доброму. В июле группу первокурсников, человек 15, направили на сельскохозяйственные работы в Тимиусбеский зерносовхоз. Мы спали на сеновале, я рядом с Юриком. Но вскоре нас отозвали в Кисловодск и по разнарядке военкомата направили в военно-авиационную академию им. Жуковского, которая в то время находилась в г. Астрахани. Мы, группа призывников, человек 12, прибыли в Астрахань (через Сталинград), но всю группу отправили назад в распоряжение кисловодского военкомата. Может быть, набор уже был завершен, а, может быть, не подошли по анкетным данным. Вернулись мы в начале августа 1942 г., а вскоре началось стремительное наступление немцев на Северный Кавказ. Местные власти были совершенно не готовы к такому обороту событий и бежали, бросив город на произвол судьбы. Безвластие в городе привело к мародерству, грабёжам. Железнодорожные ветки были уже перерезаны, и оставалась лишь одна возможность – выйти из города пешком. Некоторые преподаватели нашего института, а также некоторые студенты и особенно пожилые родители студентов считали, что бесполезно пытаться уйти пешком от немцев. Они остались в Кисловодске, и оставшиеся евреи погибли. Но большинство студентов нашего института разбились на небольшие группы и вышли пешком по направлению к Нальчику. В числе прочих и я, собрав какие-то вещи в наволочку от подушки и привязав ее в виде рюкзака, в небольшой группе студентов старших курсов под руководством преподавателя Ветрова в течение 5 суток добирался пешком до Нальчика (150 км). В Нальчике скопилось огромное количество беженцев, на железнодорожной станции – вавилонское столпотворение, паника – на путях последний состав товарного поезда, забитый до отказа. Вошедшие в вагоны выйти уже не могли. Между вагонами – на буферах и сцеплениях – тоже полным-полно. Этот состав не сможет забрать и сотой части желающих. Ветров дает команду нашей группе забраться на крышу товарного вагона, что мы и сделали, а вскоре на многих крышах появились люди, и состав медленно отошел от станции. Опоздай мы на полсутки, выехать из Нальчика мы бы уже не смогли. Следует также упомянуть эпизод во время нашего перехода из Кисловодска в Нальчик. Мы шли по обочине шоссе, по которому двигалась отступающая военная техника, а также шли какие-то грузовики и автомобили. Вдруг мы услышали трескотню и шум мотоциклов, а вскоре увидели отряд мотоциклистов – это немецкая разведка просматривала дорогу. Проехав мимо нас на некоторое расстояние, они повернули обратно. На крыше товарного вагона мы доехали до Махач-Калы, а от Махач-Калы до Дербента мы уже ехали также на крыше, но уже пассажирского поезда, который перевозил раненых красноармейцев. Крыша пассажирского вагона более выпуклая, чем у товарного, и находится на ней, а тем более спать, довольно опасно. Мы привязывались к вентиляционным трубам, но, несмотря на это, одна девушка – наша студентка – была на повороте сброшена и погибла. От Дербента до Баку мы уже ехали внутри вагона. Приехав в Баку, мы увидели в районе порта столпотворение; плавсредства не справлялись с потоком беженцев. Но через два-три дня мы на каком-то понтоне переплыли Каспий и оказались в Красноводске. Понтон наш довольно сильно качало, и я с трудом перенес качку. Дорога от Красноводска до Ташкента запомнилась тем, что продолжалась долго (дней 7), на некоторых станциях стояли часами, иногда остановки были вблизи бахчевых полей, и мы пользовались случаем и раздобывали себе арбузы и дыни. В Ташкенте нас разместили в школе. Постепенно там собирались отдельные группы нашего института, которые, как и наша ветровская группа, добирались с большими трудностями. Перед нами стояла дилемма – куда ехать дальше для продолжения учебы: в Куйбышев, где функционировал Куйбышевский авиационный институт, или в Алма-Ату, куда был эвакуирован Московский авиационный институт. Еще до моего прибытия в Ташкент группа первокурсников, в том числе, Юрик, Гиля, Женя, уехали в Куйбышев, так как они решили быть ближе к родственникам и Ленинграду. Я же и большинство студентов старших курсов решили ехать в Алма-Ату. Я считал, что при отсутствии связи с родными и почти без теплой одежды зиму будет легче перенести в теплом климате, а, кроме того, полагал, что уровень московского института выше куйбышевского. Город Алма-Ата сразу произвел на меня хорошее впечатление; он расположен на очень пологом склоне, у подножия высоких гор Ала-Тау. Планировка улиц очень строгая: одна группа улиц идет параллельно друг другу вниз по склону, вторая – перпендикулярно первой и горизонтально. Таким образом, кварталы представляют собой квадраты. Вдоль тротуаров в канавках, выложенных камнем, т. н. арыков, течет чистая вода (от таяния снегов в горах), и сплошной стеной стоят высокие кипарисы. Особенно живописный вид снизу на горы, вершины которых всегда покрыты снегом. Сначала нас, ленинградцев, поселили в физкультурном зале школы, а затем переселили в студенческое общежитие

– отдельный одноэтажный деревянный дом. Вокруг города, на склонах гор, располагались колхозные фруктовые сады, где росли великолепные плодовые деревья с яблоками апорт и абрикосами. Сады охранялись, но сторожа разрешали посторонним посещать сады и вдоволь поглощать там фрукты, но выносить их с собой из сада они не разрешали. Пока не начались занятия, нас это устраивало, но с началом занятий времени на походы в сады уже не было, а нужно было дома иметь запас яблок. И тогда ребята решили отправляться в сады строем с громким пением, изображая призывников, под командованием якобы командира. Придя таким образом в сад, ребята быстро наполняли яблоками рюкзаки и опять строем шли беспрепятственно мимо сторожей. Проблема яблок была решена. Сложнее было с одеждой. Я, например, остался совсем без обуви. Помню, на занятия в первый день я пришел в бутафорской обуви. От моих туфель остался только верх, а подошвы совсем не было. По существу, я ходил босиком, но маскировал свои босые ноги. Это обнаружил замдекана и выписал мне ордер на тапочки. В нашей группе было всего двое ленинградцев: я и Игорь Никольский. Однако Игорь вскоре решил поступить в военное училище и был отчислен. Остальные ребята и девушки жили либо в семьях, либо в общежитии, но были связаны с родными, которые им помогали материально. У меня было особое положение, так как на стипендию прожить было невозможно, и я вынужден был искать возможности заработать. Как и другие ленинградцы, я поденно нанимался на хлебозавод грузить мешки с сухарями, которые отправлялись на фронт (получал натурой буханку хлеба) или участвовал в массовках на киностудии (в частности, в фильме «Антоша Рыбкин» – изображал бойца, раненного в руку), но платили за это мизер. Разумеется, я пропускал много занятий, но ленинградская подготовка, как я уже писал, позволила хорошо сдать сессию за первый семестр и несколько хуже за второй, так как уже шел новый материал. В нашем общежитии жили в основном студенты старших курсов, причем были комнаты и для девушек, и для ребят. В теплое время года все вытаскивали матрацы в садик, рядом с домом, и располагались, как хотели. Некоторые студенты славились своими дон-жуанскими похождениями. Особым успехом у девушек пользовался Игорь Колосовский – высокий красивый пятикурсник. Игорь был личностью незаурядной – типичный лидер и вообще человек смелый, решительный и авантюрный. Он подделывал эваколисты, вскрывал пломбы в вагонах. В Алма-Ате он устроился электромонтером на мясозавод и выносил в инструментальном ящике сало и колбасы, закрывая их грязной тряпкой и инструментами. Затем он щедро делился добычей со студентами в общежитии. После переезда в Москву Игорь, закончив 5 курсов МАИ, поступил в высшую дипломатическую школу (испанское отделение), а вскоре мы узнали, что он назначен полномочным послом СССР в Мексику, где работал длительное время. Алма-Атинский период продолжался до августа 1943 года, когда началась реэвакуация МАИ в Москву. В целом этот период был для меня трудным. Я был очень одинок, в городе не было для меня близких людей (не помню, связался ли я уже с мамой, которая вместе с госпиталем перемещалась все время ближе к линии фронта). С ребятами были ровные отношения, но близких друзей не было. В зимнее время я испытывал острый дефицит вещей. Чтобы свести концы с концами, приходилось не только подхалтуривать, но и спекулировать, что было небезопасно. В Москве еще до начала занятий нас поселили в только что построенный учебный корпус, превратив его в общежитие. В аудиториях – жилых комнатах расставили кровати и тумбочки при максимальной плотности. В некоторых комнатах расселено было до 60 студентов. Я с группой ленинградцев – студентов старших курсов – был помещен в относительно небольшую комнату на 12 человек. Этот учебный корпус располагался на территории института, и было удобно приходить на занятия. Помню эпизод, характеризующий мое материальное положение. По прибытии в Москву мы все коллективно пошли в баню, но у меня, как и у большинства, не было мыла и мочалки (не могли купить), и мы мылись тряпочкой, а один пятикурсник, некто Раппопорт, дал мне мыло помыть волосы. Разумеется, на стипендию прожить было невозможно, и надо было что-то предпринимать. Один хорошо относящийся ко мне студент-ленинградец посвятил меня в следующий бизнес. Мы покупали на рынке талоны на сахар (оторванные от карточек), которые в обычных магазинах либо не отоваривались, либо по ним выдавалось что-то малоинтересное. Вместе с тем, в донорском магазине (на Кузнецком мосту) на эти талоны знакомые продавщицы выдавали нам сахарный песок в половинном количестве. Бизнес был выгодным, но требовал больших затрат времени. Нужно было толкаться на рынке, выкрикивая: «куплю сахарные талоны», затем выстаивать очереди в донорском магазине и, наконец, вновь на рынке продавать сахар. Как правило, сахар мы продавали перекупщикам по сниженной цене. Поскольку я пропускал много занятий, посещаемые лекции воспринимал плохо, то вся нагрузка перед сессией падала на предэкзаменационный период. Я любил вечера просиживать в библиотеках – Ленинской и Дома союзов – Октябрьской. Помню чувство сожаления, когда в 10 часов вечера раздавался звонок о закрытии читального зала. Из преподавателей запомнился проф. Левин, читавший математику. Читал он хорошо, но ориентировался на подготовленную аудиторию. Большинство студентов его не понимали и лишь записывали лекции в конспекты. Теоретическую механику читал проф. Воронков, напоминавший мне священника. Читал он монотонно,

пересказывая точь-в-точь свой же учебник. Лекции по сопромату читал декан нашего самолетостроительного факультета Тухин. Он добивался хорошего усвоения материала лекций путем проверки знаний по каждому разделу курса. На сдачу зачета к нему приходили студенты по 7-10 раз, а он в своей записной книжке отмечал, по каким разделам проверил знания студента, и лишь после охвата всех разделов курса ставил зачет в ведомость и зачетную книжку. Хорошо, с чувством юмора и аранжировкой, читал лекции по металловедению доцент Блантер – брат композитора. После окончания второго курса, в летние каникулы, нас направили на какие-то строительные работы на окраину Москвы. Запомнился следующий эпизод. Во время перекура в нашей бригаде один парень завел разговор о том, что евреев на фронте не было, что они, мол, всякими способами обзавелись броней, и вообще, что они паразитируют в русском обществе. Почему-то меня, очевидно, по фамилии и имени, он не принимал за еврея. Никто, в том числе и я, ему не отвечал, а потом я переживал свое малодушие. В этот летний период студентов из общежития на территории института переселили в только что построенное здание на станции Долгопрудная под Москвой (ввели в эксплуатацию учебный корпус, где жили студенты). От нового общежития до института нужно было добираться около двух часов: сначала на поезде до Савеловского вокзала, а потом на метро до станции Сокол и, наконец, на трамвае до Волоколамского шоссе. Чтобы успеть на занятия к 8 часам, надо было вставать в 5.30. Следует отметить, что новое общежитие было плохо оборудовано: комнаты большие, плохо отапливаемые, почти без мебели. Помню, что в начальный период студентам выдавалось по два матраца: на одном надо было лежать, а вторым накрываться. От общежития до станции было минут 15 ходу, причем поезд проезжал мимо общежития. Поскольку студенты часто не успевали дойти до станции, ребята вспрыгивали в поезд на ходу (поезд замедлял ход, двигаясь в горку). Были и несчастные случаи. Условия для учебы у меня были крайне тяжелыми. В этот период тетя Роза и дядя Сендер, жившие на Арбате, предложили пожить у них. Я, конечно, согласился и какое-то время жил у них, сохраняя место в общежитии. Теперь я понимаю, что с их стороны было великодушно, несмотря на трудности военного времени, карточную систему и дефицит питания, пустить в свою семью племянника – бедного студента. Не помню почему, но периоды жизни у тети я чередовал с периодами жизни в общежитии. Может быть, я подсознательно чувствовал, что мое пребывание у тети дается им нелегко, тем более что два их собственных сына служили в армии. Изредка я посещал родственников на Петровке. Меня радушно принимали, расспрашивали об учебе, а однажды подарили мне какие-то теплые вещи и новые американские зимние ботинки, которые я проносил всю зиму 1944–45 годов. В Москве у меня уже была восстановлена регулярная переписка с мамой, а зимой я совершил поездку в г. Новозыбков, где в то время находился мамин эвакогоспиталь. Трудно передать волнение и радость встречи после почти двухлетней разлуки в такие трудные годы.